

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Г85

Гришковец, Евгений.

Г85 Следы на мне : рассказы / Евгений Гришковец. — Москва : Эксмо, 2015. — 320 с. — (Гришковец Евгений. Современная проза).

ISBN 978-5-699-79773-8

Читая книгу Гришковца, очень легко почувствовать себя автором, человеком, с которым произошло почти то же самое, что и с его героями. Гришковец рассказывает о людях, сыгравших важную роль в его жизни. Какие-то истории, какие-то события — ничего экзотического. Впечатления и переживания, которые много важнее событий. И внимание обращается уже не к героям, а к своей собственной жизни. К себе.

«Я ощущаю эту книгу не как сборник отдельных рассказов, а как цельную, хоть и короткую, повесть. Совсем недавно я понял простую вещь... Когда я читаю про чье-то детство или про чью-то юность... Или когда вспоминаю или пишу про свои детство и юность, я всегда чувствую тревогу и грусть безвозвратного. В детстве и юности нет этой тревоги. Юность для юного человека бесконечна, и оценить ее невозможно. А если я вспоминаю юность, значит, я уже понял себя взрослым и оценил то, что закончилось. И значит, то, что я вспоминаю, — это не мемуары. Это то, что во мне осталось неизменным... Имена, события, факты и географические названия реальны. Все остальное — литература...» (Евгений Гришковец).

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-79773-8

© Евгений Гришковец, 2015
© Серж Савостьянов, обложка, 2015
© ООО «Издательство «Эксмо», 2015

...К НАШИМ СОБАКАМ

Первую пьесу Евгения Гришковца я услышал задолго до постановки, до культовой популярности спектакля. Именно услышал. Не прочитал «в рукописи», не узнал от автора о будущем «творческом замысле» — просто уловил краем уха в каком-то очередном застолье, в том самом сибирском городе, который в спектакле «Как я съел собаку» называется просто «город» или, иногда, «мой город».

Дело было в конце восьмидесятых, и роли между нами были распределены вот как: Гришковец занимался пантомимой (нет, он играл пантомиму, жил пантомимой!), а я писал о его представлениях заметки в разные местные газеты — от университетской многотиражки до областной, под инопланетным названием «Комсомолец Кузбасса». Гришковец мог показать, выразить телом и жестом абсолютно все: как растут на поле сорняки, пробиваясь меж плодородных злаков, каким манером капает в чай влажная капля с багрового носа вокзального

выпивохи — да попросту всё и обо всё! Этот странный человек мог часами показывать, как стоят люди в мороз на троллейбусной остановке, а потом рассуждать — как они могут стоять (будут стоять?) не в декабре, а летом, и не в ожидании троллейбуса, а в очереди за билетами на юг... Картина сменяла картину, рассказчик входил в раж, но в рассуждениях своих обходился почти без слов, ему хватало жестов, мимических импровизаций да еще междометий в особо пафосных местах.

Моя роль была неблагодарной, но я считал ее благородной: надо же рассказать людям о вечном искусстве, нарождавшемся у них прямо под носом, в городе химических заводов и угольных разрезов! Конечно, рассказать надо, тем более что сам-то художник этого никогда не сделает: не умеет. Так мне думалось, поскольку речь гениального мима была маловыразительна, сбивчива, порою невнятна. В тех самых застольных историях, которые потом на сцене превратились в «Собаку...», главное было опять-таки в фактуре, пластике, но совсем не в словах. Так мне казалось тогда.

А вышло всё иначе: еще в сибирскую пору Гришковец впервые стал на путь наибольшего сопротивления — отошел от пантомимы, заговорил на сцене своим непоставленным голосом. Драматург-актер Гришковец

сумел подчеркнуть, поставить в центр театрального действия свою сбивчивую, совсем не актерскую речь, которая превращает людей, находящихся по обе стороны сцены, в равноправных собеседников. Голос его звучит теперь уверенно, несмотря на по-прежнему импровизационный стиль и неровный темп монологов.

Ту же демонстративно «обычную» речь сохранил и Гришковец-прозаик. Точнее, так: когда драматург и актер стал еще и прозаиком, он не изменил своей прежней интонации доверительной беседы — теперь уже с читателем. То была, на мой вкус, прекрасная проза, но теперь уже опять прошлая, Гришковец снова сменил курс. В его новой книге круг замыкается: автор вполне мог бы ее рассказать за чаем старым друзьям — как это происходило много лет назад, накануне рождения спектакля «Как я съел собаку». Говоря попросту, читатель получил «Собаку...» в прозе — книжка о живых людях, все названы своими именами, по-честному. Кое с кем я до сих пор дружу, просто общаюсь или работаю, впрочем, новая проза Евгения Гришковца вовсе не рассчитана на тех, кто сам был свидетелем и участником рассказанных историй.

Читая книгу Гришковца, очень легко почувствовать себя автором, человеком, с которым произошло почти то же самое, что и с героями Гришковца. Как

соблазнительна эта легкость рассказа: да — и я, и меня, и со мной! Со мною уж точно за годы, проведенные в Сибири, произошла масса подобных историй!

Например? Извольте!

Сибирские люди отучили меня бояться чего бы то ни было — раз и навсегда. Несколько лет подряд, летом и по осени, мне доводилось вывозить стайки изнеженных филологических барышень в притаежную местность. То на фольклорную практику, то на всякие строительные и полевые работы. Первый выезд был особенно памятен. Завезли нас на какую-то бывшую обкомовскую турбазу, под той самой деревней Пача, которую задушевно-иронично запечатлел Гришковец в трогательном рассказе «Михалыч». В первый же вечер приехали на мотоциклах ребята — лыка не вяжут, обкурены, жажда девяти наслаждений в очах. Я, понятное дело, — к местному сторожу. Он говорит: «Петрович, все спокойно, видишь — вон там сарай?» И рукою куда-то вдаль машет. «Ну вижу», — отвечаю нетерпеливо. «Ты туда беги, всего пару километров, — там есть конь». — «Так-так, — говорю, — и что?» — «А ничё, гляди дальше — во-он там дом стоит, километров шесть, сечёшь? Так ты на коня садись и к дому скачи, там — телефон». И вот тут, надо вам сказать, страх с меня и слетел навсегда,

суровая правда открылась: возвращаться надо к моим девочкам и чужим мальчикам и до-го-ва-риваться. А держаться к правовому государству — себе дорожке, в Сибири оно так... Вот с тех пор и не боюсь — никого и ничего!

Но Гришковец не просто пишет, что видит. Его герой хочет во всем толку добиться: планы строит, цели ставит. Но делается это с глубочайшим вниманием и интересом к людям вокруг. Кому хочется планов — строй на здоровье, но другим не мешай жить по их собственному разумению: всяк на свой салтык велик, у каждого своя правда. У Михалыча, к примеру, такая: «Лучше, чем как надо, не надо».

Книга Гришковца — о свободе тихой, ежедневной, его герои не ноют, не унывают, они счастливы достигнутым: великим или малым, не важно. Категорический императив здесь прост и труден одновременно — не выставляй никому категорических императивов, будь внимателен, приглядчив к жизни. Не удержишь от банальной параллели — сходными чувствами озабочены герои самой знаменитой русской книги XIX века — там еще про Наполеона, Кутузова и Наташу, помните? Николай Ростов у Толстого следит, как Долохов сдает карты, и думает: как это так: я всего лишь вижу эти руки, тасующие карты, а в то же время проигрываю состояние и честь?

У Гришковца всё так и не так. Рассказчик не только не знает ответов на разные там «проклятые вопросы», конкретное содержание его историй на поверку вообще не важно. Внимание читателя приковано не к героям рассказов, а к собственной жизни. Как она проходит, складывается в судьбу? Поди попробуй-ка поймать себя на «судьбоносном» событии — ничего не выйдет. Как ни спохватишься, происходит одна ерунда какая-нибудь: ну там — ешь суп, спишь, едешь в автобусе, бессильно в кресле вязнешь по вечерам...

Когда я читаю эту прозу, главная моя эмоция вот какая: и со мной такое, бывает, происходит. И значит, не писать я должен, а быть таким же терпимым и твердым, как герои моего друга Гришковца, а знаю я их лично, нет ли — не имеет ровно никакого значения. Собрать себя по крупицам в борьбе с упрямыми ежедневными мелочами, складывающимися в жизнь, — думаю, к этому побуждает своего читателя Евгений Гришковец. Это — сегодня, а что будет потом, Бог весть... Что ж, подождем, а пока что раскроем книжку и вернемся к нашим собакам... К своим... К себе.

*Дмитрий Бак,
литературный критик, профессор РГГУ*

ДЕКАН ДАНКОВ

Деканом филологического факультета Кемеровского государственного университета, когда я в него поступил, был Василий Николаевич Данков. Он был деканом с незапамятных времён, и с незапамятных времён копились страшные истории о нём. Данкова боялись все без исключения, и все его не любили или даже ненавидели. Все, даже те единицы, к которым он благоволил.

Знакомство моё с деканом произошло в первый же день занятий во время первой же лекции, которую я слушал в университете в качестве студента. Я весь был преисполнен благоговейного трепета и радости. Я впервые сидел в большой университетской аудитории, где столы и сиденья уходили от кафедры вверх крутым амфитеатром. Навсегда запомню, что это была лекция по введению в языкознание, и читала её настоящий профессор по фамилии Орёл. Это была дама, в которой её профессорское звание

чувствовалось... даже в том, как под её ногами скрипели доски на полу за кафедрой.

Как только началась моя первая лекция и только зазвучал профессорский голос, мы — первокурсники, ещё не знакомые друг с другом юные люди — затихли и стали думать о том, слушать то, что нам говорят, просто так или уже надо конспектировать, а если конспектировать, то как это делается... Вдруг всё это чудо вступления в студенческую жизнь и начало погружения в науку было прервано громким скрипом резко открытой двери.

— Извините, — услышали мы громкий взрослый голос. — Я прерву вас на минутку.

— Ой, — сказала профессор Орёл совсем не профессорским голосом и как-то по-бабьи махнула рукой. — Даради Бога, разве я могу возражать, — сказала она, отвернувшись от нас и пошла к окну с безучастным видом, совсем как обычный человек. Языкознание исчезло из воздуха аудитории.

А к кафедре быстро подошёл невысокий такой дядька, в очень помятом и сильно заношенном сером костюме. Весь облик этого человека совершенно не вязался в моём сознании со словом УНИВЕРСИТЕТ.

Он был совсем невысокого роста. Абсолютно без шеи. Ну, то есть, совсем. Его голову запросто можно было назвать «головища» или даже «башка». Волосы на этой голове были необычно длинными для пожилого, даже почти старого человека, да ещё и в таком костюме. Косматые брови... Всё было давно не стриженное и непричёсанное.

Лицо его мне не показалось ни умным, ни глупым, ни добрым, ни злым. Лицо себе и лицо.

Рубашка была застёгнута на все пуговицы, галстук отсутствовал. Пиджак был заношен очень сильно, рукава его были короткие, и из них далеко торчали чистые манжеты рубашки и огромные руки. Эти руки были такие большие, что казались отдельными.

Брюки тоже были очень короткие, так что не доходили до щиколот сантиметра на три-четыре. Размер ботинок этого человека совершенно не соответствовал его небольшому росту. Ботинки были здоровенные, с побитыми носами и на довольно толстой резиновой подошве. Эти ботинки издавали при каждом шаге даже не скрип, а визг. Причём визг правого был выше визга левого. Этот визг знал и помнил каждый студент филфака, учившийся в мою бытность. Мы выделяли этот звук из всех звуков и шумов и знали

о приближении этих ботинок задолго до появления их обладателя из-за угла или из-за двери. Я думаю, повизгивание этих ботинок многим снилось в самых страшных студенческих снах, а, может быть, кому-то оно снится до сих пор. Кстати, должен сказать, что в другой обуви мы этого человека никогда не видели.

Я не рассмотрел его внимательнее тогда, я просто не знал, кто передо мной.

— Здравствуйте! — немного запыхавшись, сказал он и быстро обвёл всю аудиторию взглядом. — Меня зовут Василий Николаевич Данков, я ваш дэкан, — он подчеркнул звук «э» в слове «декан». — Как вас зовут, я пока не знаю. Мы с вами ещё не встречались, но прошу меня запомнить, — тут он сделал паузу, будто для того, чтобы мы лучше могли его рассмотреть и запомнить. — У меня короткое объявление для тех, кто будет проживать в общежитии. Здесь у меня список тех, кому после третьей пары нужно будет подойти к коменданту общежития.

Он достал из бокового кармана пиджака сложенный вчетверо и сильно помятый лист бумаги, развернул его и поднёс к глазам. Потом он положил этот лист на кафедру и стал обшаривать карманы брюк и пиджака.

— Вот незадача, — громко, но сам себе сказал он. — Ладно. Я забыл очки, — это он сказал уже всем. — Старосты групп... хотя вы же ещё не выбрали старост. Ладно. Кто-нибудь по окончании лекции прочтите этот список, и все, чьи фамилии в этом списке, после третьей пары должны явиться к коменданту общежития. Это обязательно.

Пока он говорил, я не сводил глаз с нагрудного кармана его пиджака, из которого торчали очки.

— Простите, — сказал я, когда он закончил.

— Что такое? — повернулся он в мою сторону, но меня не разглядел.

— У вас очки в нагрудном кармане, — сказал я громче прежнего.

— Спасибо, — очень резко сказал он и быстро надел очки на лицо. — Кто это сказал?

— Я, — сказал я.

— Кто это Я? — еще резче сказал он. — Встаньте.

— Я сказал, — сказал я робко и встал.

— Ага! Понятно. Спасибо, — сказал он медленно, внимательно меня рассматривая.

Сказал и быстро вышел из аудитории, повизгивая ботинками. Исчезая, он громко захлопнул дверь.

— Как опрометчиво вы высказались, юноша, — услышали мы от окна голос профессора Орёл, — ох, опрометчиво. Ну зачем вам было это нужно! Трудно же вам будет здесь учиться. И вообще, наверное, будет трудно. Осторожнее надо... А впрочем, продолжим... Основным объектом изучения...

Как же она была права! Всё-таки профессорами в те времена становились только достойные этого звания люди.

Василий Николаевич Данков, наш декан, невзлюбил меня сразу. Нет, не подумайте, он не обиделся, не рассердился, не счёл моё замечание и моё обращение к нему дерзостью... Он просто разглядел меня и запомнил. Он не любил всех. Вообще всех... Не знаю его отношений с родственниками и знакомыми, но студентов, преподавателей и прочих сотрудников он не любил. И тут лучше было быть частью нелюбимой им человеческой массы, чем конкретным человеком. То есть он меня разглядел, запомнил и невзлюбил конкретно и персонально.

Только теперь я догадываюсь, какой трудной и несчастной была его жизнь и работа. Он придавал огромное значение и непреклонно настаивал

на посещаемости лекций, особенно первых утренних лекционных пар. Его не так интересовали оценки студентов, как их присутствие на занятиях. И он за этим следил. Ох, следил!

Должен напомнить, что Данков был деканом филологического факультета Кемеровского госуниверситета. То есть факультета, который выпускал и выпускает в основном будущих учителей русского языка и литературы. А это значит, что на девяносто пять процентов студенческий состав филфака был... женский. Точнее, девичий. А девчонки, которые поступали на филфак, в основном были из райцентров, городков, посёлков и деревень. Очень редкие парни-филологи, были... как бы это сказать... очень странными парнями (кроме меня, конечно). Я это к тому, что в общежитии жило больше половины всех студенток нашего факультета.

Очень часто Данков врвался в самом начале первой лекции в аудиторию, быстро делал перекличку, быстро устанавливал отсутствующих, потом по списку узнавал, кто из них живёт в общежитии и в каких комнатах. После этого он бежал туда. Редко когда кто-нибудь мог опередить его и предупредить несчастных.

Он как какой-то неукротимый смерч пронесился по этажам, без стука вламывался в комнаты, а если двери были закрыты, он сотрясал их такими страшными ударами или даже выбивал эти хлипкие общежитские двери. Нагота, визги, застигнутые в утренней неге парочки не смущали его. Он забегал в комнаты, срывал со спящих или уже проснувшихся одеяла, бросал эти одеяла на пол...

— Это так вы учитесь! Приехали изучать словесность! Зачем вы приехали? А-а-а?! — орал он.

Говорили, что одна третьекурсница запустила в Данкова тарелкой, когда он ввалился утром в их комнату. Данков ловко тарелку поймал одной рукой, сказал: «Та-а-а-к!» — и раздавил эту тарелку своими огромными пальцами и побежал дальше.

После такого рейда Василий Николаевич вызывал всех застигнутых к себе в деканат и по одному, а точнее, по одной карал. Всех доводил до слёз. Это было обязательно. Об этом знали. Но слишком быстро пускать слезу тоже было нельзя. Он не верил быстрым слезам. Те же, кто решался бороться и не плакать... Короче, плакали все.

На первом курсе я мало сталкивался с деканом: во-первых, я дисциплинированно учился, не болел